

## II

862–1862,

или

### ТЫСЯЧЕЛЕНИЕ РОССИИ

**Сочинение «Свистка», юного российского поэта, философа, историка и вообще сочинителя, получившего окончательное образование за границей, будущего академика и члена разных ученых российских обществ и учреждений и будущего разных орденов кавалера.**

**Протекло ровно тысяча лет от 862 до 1862. Если варяги призваны славянами на княжение действительно в 862 году, что, впрочем, еще окончательно не доказано и едва ли когда-нибудь может быть доказано, то нельзя не согласиться, что Российское государство прожило полную тысячу лет. В жизни такого колоссального государства, как Русское, развивавшегося так самобытно, так оригинально, по временам даже так странно; государства, населенного народом великим, предназначенным неисповедимыми судьбами Провидения пронести свет цивилизации на Восток, как это несомненно доказано нашими философами, публицистами, поэтами и историками, слить Восток с Западом, обновить, наконец, одряхлевший уже совершенно Запад<sup>35</sup> — тысяча лет не безделица, а эпоха, и эпоха поистине великая! Если бы мы не знали, что действительно прожили тысячу лет, то по тому одному, что совершается ежедневно перед нашими глазами, мы не могли бы усомниться, что мы прожили никак не менее тысячи лет. Куда бы мы ни обратили взор наш, везде, мы видим, происходит нечто великое, такое, что только и может происходить в государстве благоустроенном, цивилизованном, прожившем по крайней мере десятков**

веков. Постройка главным обществом железных дорог огромной, в

232

4000 верст, сети железных дорог, охватывающей почти всю Россию, сети, в которую попало столько добродушных акционеров, повсеместное распространение воскресных школ и необыкновенное их преуспеяние, беспощадная гласность, разящая без лицепрития всех — и великих и малых мира сего, под образами X, Y, Z и других алгебраических знаков, растворение пива *кукельваном*<sup>36</sup>, изобретение в Москве нового серебра<sup>37</sup>, появление «Дня»<sup>38</sup>, открытие г. Камбеком особого отдела для ерунды<sup>39</sup>, борьба «Основы» с «Сионом», «Домашней беседы» с «Духом христианина» и «Православным обозрением»<sup>40</sup> и проч. и проч. — все это такие чудесные явления, которые в веке варварства были бы названы наваждением дьявольским или несомненными знаменами скорого пришествия антихриста; мы же с гордостью можем указать на них как на несомненные свидетельства наших невероятных успехов на пути прогресса и цивилизации и на залого нашего будущего развития. А сколько в последние 5—6 лет поднято и поднимается доныне каждодневно разного рода вопросов? И все они рассматриваются с таким напряженным вниманием, с такою осмотрительностью, что можно положительно сказать, что ни один еще из них не рассмотрен и не решен окончательно. Попробуем перечислить более общие и более известные из них.

1) *Вперед нам идти или назад?* Вопрос этот давно уже рассматривался. При первоначальном рассмотрении его все единогласно порешили было: *идти вперед*, и в таком виде дело по этому вопросу было зачислено конченным и сдано в

архив. Говорят, на последнем литературном чтении Н. И. Костомаров снова поднял этот вопрос. Он, т. е. Н. И. Костомаров, находит, что мы слишком уже пошли, и что не худо поворотить назад. Справедливы ли эти слухи? С нетерпением ожидаем появления в свет вышеупомянутого нами сочинения Н. И. Костомарова: «Тысячелетие России», которое должно рассеять наши недоумения. Если Н. И. Костомаров действительно сказал, что попятиться назад нам не худо, то и мы тех мыслей, что, пожалуй, не попятиться ли? В самом деле, недалеко ли мы уже очень угнали?

2) *Что значит идти вперед и что значит идти назад?* — Вопрос также очень давний, но далеко еще не решенный. Как узнать: кто идет вперед? Г. Аскоченский говорит, что он один идет вперед, называя всех других передовых развратителями, еретиками, чуть ли даже не безбожниками. «Русский вестник» говорит, что, напротив, он только идет вперед, называя всех мальчишками, пустозвонами, свистунами и т. д. «День» говорит, что, не облачившись в сибирки, или зипун, не надевши смазных сапогов, нельзя и подумать идти вперед, что вообще для того, чтоб идти вперед, надобно сначала поворотить ко временам Ивана Грозного, а оттуда уже с божиею помощью и отправляться в дальнейший путь. «Светоч» идет вперед также особняком.<sup>41</sup> Он полагает, что вперед невозможно идти, не помилив фрака с зипуном, шляпки с повойником, Запад с Востоком, что над этой задачей он и работает теперь денно—нощно, чтобы потом начать торжественное шествие вперед. «Свисток» идет вперед — и говорить нечего — также совершенным особняком. Обозревая силы и характер разного рода российских передовых, он думает, что в наше время идти вперед — значит неумоимо обсвистывать всех передовых, чтобы они не завели любезного отечества в

непроходимые дебри, из которых впоследствии не в пример труднее будет выдираться, чем из

233

дебрей норманских, устроенных М. П. Погодиным и другими почтенными исследователями русской истории в давнопрошедшее время.

3) *С палкой и розгой идти вперед или без палки и розги?* По этому вопросу, также очень давнему, образовалась целая литература, а к окончательным выводам все-таки никаким не пришли. *De facto* все того мнения, что без палки и розги вперед идти невозможно, ибо, дескать, такой уж русский человек от природы, что без этих инструментов с ним ничего не поделаешь. *De jure* мнения относительно употребления розги распадаются на три разряда: партия радикалов, состоящая почти исключительно из свистунов, говорит, что розга никогда, нигде и в никаких случаях, не должна быть употребляема; партия умеренных соглашается, что употребление розги антигуманно, унижительно, вредно, но все-таки, дескать, предосудительного нет ничего, когда попечительный начальник или педагог, по истощении всех средств вразумления и наставления, по усмотрении очевидной пользы от действия розги, иногда и употребит ее с благоразумием, с осмотрительностию, пылая отеческою любовью к наказуемому. Вот, дескать, мальчишки рассудок имеют очень слабый, и действовать на них чрез него можно очень мало; память у них также очень слаба — и на нее расчет плох: забывают все. Так для возбуждения в них внимания и впечатлительности их посечь иногда не только не худо, но и весьма пользительно. Есть, наконец, еще третья партия примиряющая — радикалов и умеренных.

Партия эта тех мыслей, что в деле воспитания можно обойтись без употребления розги, принятого ныне как антигуманного, но можно, дескать, ввести другой способ ее употребления, который гуманным началам противоречить несколько не будет, а именно: виновных розгой не бить, а подводить к ней и давать ее нюхать. Самый запах ее, как вещества наркотического, должен иметь пользительное для духа действие. Мнение это явилось в первый раз в каком-то воронежском училище<sup>42</sup>; как сильно распространено оно в настоящее время — неизвестно. Мы удивляемся: отчего не пристанет к нему партия умеренных. Кажется, тут прогресс самый постепенный, осторожный, благоразумный, скачков никаких...

4) *Как идти вперед — с букварем или без букваря?* И по этому вопросу составила также целая литература, а окончательного мнения также не выработалось. Одна партия говорит, что дело не в том, чтобы просветить народ, а в том, чтобы сделать его добродетельным, богобоязливым, в отеческих преданиях твердым. А одна грамотность не только к этому не служит, а еще развращает и портит людей. Крестьянские, дескать, мальчишки, обучающиеся в школах, зачастую выходят пьяницами, людьми негодными и проч., и проч. Другая партия возражает на это, что пьяниц, негодяев и т. д. из неграмотных выходило бесконечно больше, что нет, дескать, никаких причин, чтобы грамота образовывала пьяниц, негодяев и т. д., что потому грамоте следует учить всех. «Свисток», впрочем, питает надежду, что вопрос о букварях будет скоро решен окончательно. Антибукварники восставали доселе против грамотности потому главным образом, что у нас нет назидательных книг для простого народа, что народ должен читать книги, написанные свистунами или людьми, которые еще и свистунов хуже. Теперь эти недостатки в назидательных книгах, как известно, не существуют более.

**В. И. Аскоченский издал целую охапку назидательных книг для народа. Общество для распространения**

234

полезных для народа книг сделало несколько изданий<sup>43</sup>, еще назидательнейших, чем В. И. Аскоченский. Теперь есть верное средство, чтобы обучившийся грамоте народ не спивался с кругу, но мошенничал и т. п.

5) *Всем ли идти вперед, или только имеющим штаб и обер-офицерские чины?* Вопрос этот в литературе обыкновенно обходится или рассматривается стороной. Прямо поставить его оказывается не совсем как-то удобно. Если идти вперед, то уж, конечно, надобно идти вперед всем, и так называемым меньшим братьям. Даже и у таких людей, которые отличаются особенно незастенчивостию в литературе, подобно некоему Элиасару, не достанет смелости сказать печатно, что мужиков надобно держать в невежестве или что не нужно заботиться о том, чтобы вывести их из того жалкого состояния, в каком они находятся. Потому вопрос о том: всем ли идти вперед? — затрагивается, как мы сказали уже, обыкновенно косвенно. Начинает какой-нибудь господин говорить сторонкой о том, что, дескать, у нас дворянство исстари составляет единственный образованный класс<sup>44</sup>, что от него только и можно надеяться всего хорошего в будущем. Когда господину начинают возражать на это: позвольте, позвольте! что вы говорите? у нас совсем не так... то он преспокойно на это отвечает: «Эх, господа! вы ведь не так меня поняли: я под дворянством разумею всех образованных людей». Каков господин! Другой господин заведет речь такого рода: «Образовать всех в государстве вполне дело совершенно невозможное. Ибо иначе, дескать, и

хлеба некому будет сеять, и мы умрем все с голоду. (*Ей–богу так!*) Образовывать же *вполовину* не стоит; потону, дескать, что полуобразование, развивая новые потребности в человеке, которых он не знал бы в том незавидном невежественном быте, в котором был, делает его недовольным этим бытом, заставляет искать лучшего и таким образом порождает массы людей вредных для государства. Ergo\*, заключает господин, должен быть только один привилегированный класс, для которого должно быть доступно образование»<sup>45</sup>. Вы думаете: мы все это выдумываем? — Ничего не бывало. Нам только не хочется конфузить господина, высказывавшего такие позорные для всякого сколько–нибудь образованного человека мысли, а то мы могли бы сделать выписку из его сочинений, гласящую почти слово в слово то самое, что сказали мы. Третий господин начинает речь в таком тоне: «Оно, действительно, нужно всех образовывать... Да не рано ли? Все ведь хорошо делать исподволь, постепенно, чтобы дело развивалось, так сказать, само из себя, органически...»<sup>46</sup> (Видите ли: даже философский взгляд является на дело?) Потому, не лучше ли, дескать, развитие народа предоставить времени, истории?...» Одним словом, как скоро дело касается развития народного, то тут выходит нечто весьма смешное... С каждым из нас, иногда даже бессознательно, повторяется история, вроде следующей:

Я говорю: теперь свободен<sup>47</sup>  
Народ — от счастья недалек...  
О как прекрасен, благороден  
Наш умный, русский мужичок!  
О, я готов с ним целоваться,  
Обнять, любить; ведь это долг!  
Но чтоб на деле с хамом, знаться,

---

\* следовательно (лат.). — Ред.

## Избави бог! Избави бог!

235

б) *Если и вперед идти, то брать ли с собою в путь гласность, или не брать?* Вопрос о гласности, кажется, давно уже был решен, и решен был быстро, решительно, единогласно, как не решался ни один из прогрессивных вопросов. Помните ли вы, читатель, с каким шумным восторгом, торжественными овациями и самыми бурными аплодисментами приветствовали все гласность, когда она явилась у нас? — Одни статьи М-г de-Кокорева о пользе гласности<sup>48</sup>, о том, что она истребит у нас, как персидский порошок истребляет насекомых, все возможные злоупотребления в каких-нибудь два, три года, вообще в самое короткое время, — одни, говорим, эти статьи, со включением сюда, разумеется, и написанных М-г de-Кокоревым на французском диалекте, могли бы составить хороших два-три тома. Тогда один только «Свисток» усомнился в пользе и даже возможности российской гласности и, будучи еще юным, неопытным в жизни, не только высказал откровенно свое мнение, но и стишки написал по поводу общего увлечения. Может быть вы не помните этих стишков, мы припомним их; теперь это будет кстати. Вот они:

Солнце в тучах непроглядных<sup>49</sup>  
Грустно лик свой прячет;  
У ворот двора сквозного  
Бедный Ванька плачет.

Целый день он по столице  
С юнкером катался;  
Пять рублей ему дать юнкер



**За день обещался.**

**Но чрез двор сквозной под вечер  
Он от Ваньки скрылся;  
Ванька с клячей понапрасну  
Целый день трудился.**

**Успокойся, бедный Ванька:  
Есть тебе защита,  
Как тебя обидел юнкер —  
Будет всем открыто.**

**От обид и от обманов  
Уж прошла опасность!  
Ныне время не такое:  
Процветает гласность!**

**Завтра ж я во всех газетах  
Публикую ясно:  
«Ездил с юнкером извозчик  
Целый день напрасно.**

**Дать хотел он пять целковых —  
Не дал ни копейки».  
И предам его позору  
Я в моей статейке.**

**Но, не внемля утешеньям,  
Глупый Ванька плачет...  
Солнце гневно лик прекрасный  
В черных тучах прячет.**

**Сколько тогда злословия, брани перенес «Свисток» за эти невинные стихи? Его обвиняли в невежестве, в узком**

эгоизме, в кощунстве над всем святым и возвышенным; сомневались — есть ли в нем святое чувство любви к отечеству, подозревали даже «Свисток» в измене отечеству, в сношениях с недружелюбными державами. За вольнодумство «Свистка» о гласности даже «Современник» подвергся страшной опале. За то, что он позволил «Свистку» (слышите: *позволил!* Как будто «Современник» имеет какую-нибудь власть над «Свистком»!) так презрительно отозваться о гласности, его обвиняли в шарлатанстве, в шутовстве... «Отечественные записки» и одинаково с ними мыслящие «Санктпетербургские ведомости» объявили торжественно, что после такого гнусного мнения «Свистка» о гласности «Современник» потеряет всякое уважение в глазах благонамеренных людей. Но как ни горячились, а с гласностью действительно вышло то, что предсказал «Свисток». Курс ее в России пал ниже, чем курсы всех возможных кредитных бумаг. В журналах стали открыто говорить против гласности. Недавно мы встретили в «Сыне отечества» целую статью о «гласности», где доказывается, что гласность...

236

просто у нас вредна, неприлична и ничем извинена быть не может. Мы упоминаем об этой статье не потому, чтобы думали, что мнение «Сына отечества» о гласности разделяется всеми... Но ведь теперь никто, однако, и не возражает против этой статьи. А напиши — не говорим то, что написано в статье, а сотую долю того, — какой-нибудь господин два-три года назад, его истерзали, заклевали бы, места не нашлось бы ему не только в литературе, в целой России. Что были тогда стишки «Свистка» в сравнении с

этой статьею? Просто шутка, шалость! А чего он за нее не вытерпел? Посмотрите, полюбуйтесь, что печатается о гласности теперь.

Да не удивляется читатель, что «Свисток» рекомендует ему эту статью, по-видимому мало занимательную. «Свисток», всеми ненавидимый, презираемый, гонимый, не признаваемый даже в праве существовать в литературе, в праве, в котором не отказывают даже «Сухим туманам», даже ерунде г. Камбека, не мог не встретить с распростертыми объятиями статьи оправдательной для него, статьи, написанной в защиту его понятий. Хвала и честь автору, который, вопреки общему предубеждению к «Свистку», протянул ему свою братскую руку! Хотя «Свисток» и убежден, что г. Ципринус, подписавшийся под статьей, должен быть непременно откупщик<sup>50</sup>, ибо кто же решится при нашем строгом общественном мнении говорить против гласности, кроме «Свистка», который по легкомыслию и неопытности в жизни никого знать не хочет, и откупщиков, которые находятся в полном распоряжении российской гласности, истерзаны ею до последней возможности и готовы, бог весть, чего не дать, только бы привести эту гнусную гласность в пределы рекомендуемой г. Ципринусом законности; но для «Свистка» ведь это все равно — откупщик ли г. Ципринус, целовальник ли, чиновник ли, — все-таки он держит руку «Свистка». Не в том сила — сильна ли эта рука или бессильна, — а в том, что она, рука эта, осмелилась протянуться против гласности, осмелилась протянуться в виду всей публики, — и не нашлось никого, кто бы остановил эту руку! Значит, гласность российская окончательно пала; значит, общественное мнение вовсе не в ее пользу, когда даже какой-нибудь Ципринус может публично говорить против нее такие вещи, каких назад тому два года не позволили бы сказать даже и

легкомысленному «Свистку». Значит, «Свисток» был прав, когда говорил, что гласность в ходу у нас не будет.

Правда «Свистка» подтверждается теперь со всех сторон. Не только публика охладела к гласности — публике это еще извинительно, она может прожить и без гласности печатной, — даже журналисты, литераторы, которые жили гласностью сами, украшали ею свои издания, сделались равнодушны, притупели к гласности. Кто из читателей не помнит, как усердно почтовое ведомство, попечительное об удобствах российского сообщения, вызывало литераторов, журналистов, экспертов и вообще людей знающих к обсуждению *путем печатной гласности* разных частей почтового управления?<sup>51</sup> Что ж вы думаете? Ни из экспертов, ни вообще из людей знающих, ни даже из литераторов и журналистов не отозвался на этот вызов никто. Так по крайней мере заявил в 284 № «Санктпетербургских ведомостей» об этом некто г. Элиасар, подобно многим, почтовый чиновник, как можно заключать из того, что он сообщает такие сведения по почтовому ведомству, которые

237

могут быть доступны только служащему в этом ведомстве, и потому что ему достоверно известно, что не только *путем гласности*, но и *путем официальным* почтовое ведомство не получило ни от кого соображений относительно почтовой части.

Известный нам ученый г. Ржевский, рассматривая статью чиновника Элиасара, приходит в недоумение: отчего бы это *путем печатной гласности* никто не захотел отозваться на любезный вызов почтового ведомства?

«Если, — говорит он, — слова г. Элиасара справедливы (т. е. вызов почтовым начальством всех желающих к обсуждению почтовых дел путем печатной гласности), а сомневаться в них мы не имеем никакого повода, то как согласить с ними то странное явление, что с ноября 1860 года в журналах как бы вовсе прекратились все суждения о почтовом деле, даже простые заявления невысылки газет и журналов, особенно иностранных, и даже читателям «Московских ведомостей» осталось вовсе не известным, получил ли наконец г. Тарасенков обратно все свои деньги из газетной экспедиции московского почтамта за иностранные журналы, которые в продолжение многих лет ему не были высылаемы? Мы знаем, что редакторы периодических изданий любят отговариваться известными *причинами, от редакции не зависящими*; но в этом случае эта отговорка также не должна иметь силы, потому, во-первых, что почтовое ведомство, как видно из вышеприведенных слов г. Элиасара, само *вызывает печатную гласность*, а во-вторых, оно не имеет к тому и возможности, ибо и, как известно всем следящим за нашим законодательством, оно не пользуется правом специальной цензуры, высочайше дарованной некоторым ведомствам. Тут есть что-то странное и необъяснимое, как в словах того господина, который на французском диалекте упрекал русскую литературу в равнодушии к общественным вопросам<sup>52</sup> несколько лет тому назад в «Journal de St. Pétersbourg».

«Свисток» в этом замечании г. Ржевского удивляется двум вещам: 1) как он, г. Ржевский, занимаясь литературою, не знает, что все статьи, предназначенные для печати, как скоро они касаются каких-нибудь отдельных управлений, <после> предварительно<го> одобрения общею цензурою поступают на рассмотрение этих управлений? Так точно делается и с статьями, относящимися до

почтового управления; 2) что г. Ржевский находит странного и необъяснимого в том, что никто не хочет заявлять путем печатной гласности своих соображений, относящихся до почтового управления? — Никто не хочет заявлять, очевидно, потому, что все россияне, не исключая литераторов и журналистов, охладели ко всякого рода гласности. Что удивительного, что они охладели и к гласности почтовой и остаются глухи и немые к любезным вызовам почтового начальства?

Есть у нас и еще не менее разительный пример охлаждения всей русской публики, в том числе и журналистов и литераторов, к гласному обсуждению разного рода общественных вопросов. Но прежде, чем передадим этот пример, мы считаем нужным объяснить нашим читателям, что в истории, которую они прочтут, не может быть ни на волос сомнения, потому что мы берем эту историю целиком из литературного обозрения последней XI книжки «Русского вестника». «Русский вестник» же, в особенности литературное обозрение в нем, не предадут тиснению лжи, клеветы, сплетни. Там все

238

истинно, достоверно, непогрешимо, чисто, добросовестно. *Зане* там пишут ведь не свистуны, не пустозвоны, *не шарлатаны, не плуты, не ловцы рыбы в мутной воде*<sup>53</sup> (слова, набранные курсивом, новые наименования, придуманные и сообщенные в последней книжке «Русского вестника» для обозначения несолидарных с «Р. в.» писателей; каких именно — не обозначено точно, но уповательно, что свистунов), а мужи науки, украшенные и богатством прочных знаний, и в опыте жизни закаленные.

Ну–с, так вот эта историйка, которую рассказывает «Русский вестник»:

«Один профессор, недавно вступивший на кафедру, напечатал свою первую лекцию<sup>54</sup> и коснулся в ней, насколько это было возможно, некоторых современных явлений. Выказанные в ней замечания не пришлись по нраву толпе, которая в то время вовсе была неспособна подумать о чем–нибудь спокойно. Этим обстоятельством тотчас же воспользовались *ловцы рыбы в мутной воде*. Разные сплетни, одна другой нелепее, были пущены в ход. Не стоит исчислять их; но нельзя не упомянуть об одной, очень интересной. Вдруг во всех литературных кругах распространилось известие, что против вышеупомянутой лекции и вообще против всего, что будет написано ее автором, запрещено говорить, что автор поставлен в особого рода *привилегированное* положение, которое для честного писателя совершенно невыносимо. Мы краснеем за те лица, которые выдумали, изукрасили и пустили в ход эту нелепость, краснеем тем более, что *эти господа, сколько нам известно, принадлежат не к задним рядам каких–нибудь чиновников или писак, а к передовым. Они поступали совершенно сознательно*; они очень хорошо знали, что ничего подобного не было и быть не могло, а только воспользовались удобным случаем выдумать и пустить в ход сплетню. Точно так же себе на уме поступили они и тогда, когда нужно было свалить ответственность за одну меру, возбудившую ропот, на одно почтенное лицо, памятное московскому университету и несколько неповинное в этой мере. Особенно в Петербурге удаются эти сплетни, клеветы и интриги. Там вдруг разрастают они до чудовищных размеров и охватывают все без малейшего сопротивления. Какая пассивная, бессильная, воспитанная сплетнями и интригами среда! Никто не хочет слышать объяснений: все бессмысленно повторяют одно и то же. Нет

надобности до истинной правды: не возникает ни малейшая критическая попытка, все беспрекословно повторяют одну и ту же сплетню и бескорыстно обдeldывают аферу *ловких интриганов*».

Видите ли, читатель, до чего возросло охлаждение русской публики к гласности; впрочем, что мы говорим: охлаждение! — просто отвращение, можно сказать, *гласобоязнь*. Даже литераторы и журналисты, вместо того чтобы обличить и урезонить ненавистного им профессора печатно, дозволенным образом, пускаются на подлость, сочиняют сплетни, клеветы, разносят их — одним словом, по справедливому выражению «Русского вестника», превращаются в ловцов рыбы в мутной воде! И все оттого, что им опротивела, стала ненавистна гласность!

Не прав ли был «Свисток», когда назад тому еще два года он, подобно древней Сивилле<sup>55</sup>, прорек, что гласности в России не бывать, т. е. не бывать в наше время: ибо «Свисток», как он ни прозорлив, не может же предсказать, что может случиться в течение вновь наступившего тысячелетия.

7) *Если и идти вперед всем русским, т. е. не только штаб и обер-офицерам, но и простому народу, то брать ли с собою все бесчисленные национальности, входящие в состав русского народа, — национальности какие-нибудь ничтожные, ну, положим, хоть евреев? Вы помните, конечно, читатель, какой был гвалт в русской литературе назад тому года три, кажется, по поводу оскорбления прежним редактором «Иллюстрации», г. Зотовым, двух еврейских личностей? Как вооружались на него все даже за то одно, что он позволил себе называть евреев жидами?*



**Протестовало против Зотова сначала несколько литераторов в «С. Петербургских ведомостях». Затем открыто было при «Русском вестнике» временное отделение для принятия во всякое время протестов от желающих протестовать против Зотова. В бюро, открытом при «Русском вестнике», протестовали все русские литераторы; в протесте явились даже такие имена, о которых до того времени никто не слышал в русской литературе, например имена братьев Милеантов. Протеста не признал только г. Аскоченский, который на основании священного писания доказывал, что евреев так и следует называть жидами, — да еще «Свисток», который находил во всеобщем походе всей русской литературы против одного г. Зотова слишком много воинственного и глубоко сожалел о трате таких великих сил на такие незначительные дела... Но что ж значило мнение какого-нибудь Аскоченского и даже «Свистка» против сил всей русской литературы? По поводу дела г. Зотова с евреями решен был окончательно и единогласно, между прочим, и тот вопрос, чтоб евреев признавать равноправными с русскими и потому не называть их жидами как наименованием, употребляемым об евреях в смысле презрительном... И в силу этого решения, признанного всеми тогда, сохрани бог, если бы кто-нибудь вздумал назвать евреев жидами! Тогда даже и «Свисток» делать этого не осмеливался. Один только Аскоченский как мыслящий на основаниях особого рода и не считающий своих произведений принадлежащими к числу литературных произведений стал называть евреев со времени похода противу г. Зотова не иначе, как жидами, в пику, разумеется, всей литературе. Что же мы видим теперь? Вопрос о евреях, так единодушно, так торжественно, так окончательно решенный, поднят снова — и как поднят-то! «Основа» облеклась во всеоружие диалектики и доказала, что евреев жидами называть можно**

и должно, доказала до того твердо и основательно, что сам «Русский вестник» изрек, что «Основую» это «доказано». Мало того: даже еврейский орган «Сион» согласился, что еврею названием жида обижаться не следует, что это имя филологически образовалось правильно. Но «Основа» такую уступчивостию «Сиона» не удовольствовалась. Она стала доказывать, что и обидный смысл, который заключается в слове «жид», вполне заслужен был украинскими евреями прежде, да и ныне, дескать, еврейское племя, по своим отношениям к русским, заслуживает того же самого. Все это, как ни странно, но для «Свистка» не было бы еще очень поразительно. «Основа» родилась недавно, в протесте против Зотова не участвовала. Да и что «Свистку» за дело, как думает о разных предметах «Основа»? Мало ли кто как о чем не думает? Не возражать же против всякого; а то пришлось бы, пожалуй, весь «Свисток» наполнить пустым словопрением с Аскоченским, «Днем», «Русским вестником», «Отечественными записками» и т. д. Для «Свистка» мнение самой «Основы» важно в настоящем

240

случае потому только, что оно показывает, что и вопрос о евреях, почитавшийся так единодушно и окончательно решенным, вовсе еще не решен. Вот что-то будет — не решится ли он с божьею помощью в наступающем тысячелетии? А главным образом важно то, что «Русский вестник», разбирая спор между «Основой» и «Сионом», признает, что евреев действительно должно называть жидами, не вооружается громами своего красноречия даже против того мнения, что с именем *жид* должен быть и в настоящее время соединяем обидный для евреев смысл. Он

нападает на г. Кулиша, ратующего в «Основе» против евреев за то только, что он в борьбе с евреями прибегает к *сикофантству*. Ах! виноваты перед читателем. Мы и забыли сказать, что *сикофантство* новое милое словцо, которое придумал «Русский вестник» не для одного Кулиша, а для всех петербургских литераторов, а может быть и для свистунов только, точно сказать не умеем, потому, что по вышеприведенной нами из «Русского вестника» выписке читатель усмотреть может, что «Русский вестник» неблагоклонен ко всей петербургской литературе, говорит, что сплетня и клевета гуляют здесь свободно во всех кружках литературных; надобно поэтому думать, что «Русский вестник» едва ли не всех петербургских литераторов признает свистунами. Само собою разумеется, что «Свисток» лично за себя не только этим не оскорбляется, а еще и чувствительно благодарит «Русский вестник», нежно насвистывая при этом:

Какое счастье! честь какая!<sup>57</sup>

Ведь если все петербургские литераторы *свистуны*, то «Свисток» составляет собой некоторым образом эпоху в литературе! Но не в этом дело. Что же такое *сикофантство*? В Аттике, видите ли, был закон, которым воспрещалось вывозить для продажи из Аттики смоквы. Те, которые следили за нарушителями этого закона и доносили на них, назывались *сикофантами*; отсюда в презрительном смысле стали называть *сикофантом* всякого, кто посвящал себя милому занятию ради корысти или и бескорыстно, просто по влечению сердца, доносить на других, — был ли то донос справедливый или ложный. Для чего «Русский вестник» за словом, обозначающим такое ясное для нас дело и понятие, отправился в Грецию, мы решительно не знаем. *Лазутчик, шпион доносчик, шепотник, клеветник, ябедник, фискал* —

да что тут считать? Сколько у нас можно набрать слов для означения сикофантства. Для выражения каких-нибудь других понятий и предметов, где мы отстали далеко и от классического мира и от современной Европы, нам, конечно, бывает нужда обратиться за словом в современную Европу, а иногда в крайних случаях даже и в классическую древность. А уж для выражения такого понятия, как сикофанство — *permettez vous\** — нам не только незачем ходить в Европу и тем более в классическую древность, а пожалуй, мы бы и их наделили еще словами для выражения таких понятий, если бы они только имели нужду. Г. Щербальский недавно на основании исторических данных доказал, что русский народ любовью к доносам отличался еще до принятия европейской цивилизации, что у него как будто в сердце есть расположение к доносам<sup>58</sup>. «Русский вестник», вытаскивая такое ужасное слово, как сикофанство, из

241

могил классической древности, очевидно хотел свою слишком пряную для петербургских литераторов речь смягчить аттической солью<sup>59</sup>; но обвинение в сикофанстве такая ведь вещь, которой ничем не смягчишь...

Так вот как, читатель, переменяются времена! «Русский вестник», тот самый «Русский вестник», который назад тому три года уничтожил бы всякого дерзкого, осмелившегося назвать еврея жидом, который открывал временное бюро для протеста за евреев, теперь не только соглашается сам, что евреев можно и должно называть жидами, но не вооружается и против того, что с именем жида должен быть соединен обидный для евреев смысл!

---

\* вы уж позволяте (франц.). — Ред.

Читатель видит, что из вопросов так называемых главных, коренных, не решен еще положительно ни один... Мы все еще раздумываем: как бы их решить—то половчее? В таком же неопределенном положении остаются и все вопросы, более частные, мелкие. Г. Розенгейм — поэт или нет? Н. В. Павлов — философ ли, или нет? Г. Лонгинов — библиограф только, или должно признать в нем публицистический и критический талант за знаменитые статьи его о князе Вяземском?<sup>60</sup> Вероятно ли, чтобы г. Катков не сознавал, что между «Русским вестником» до появления в нем «Старых богов и новых богов» и между «Русским вестником» после появления в нем «Старых богов и новых» нет ничего общего<sup>61</sup>, что, говоря словами нового «Русского вестника», это вовсе не «одного поля ягоды»? Все эти и другие бесчисленные обыденные, на каждом шагу встречающиеся вопросы остаются без всякого решения. Когда они решатся, да и решатся ли когда-нибудь?

Из краткого перечня некоторых только вопросов, нами сделанного, видно уже, как много поставлено их в настоящее время. Богатство их умножается все более и более, возрастая день ото дня в количестве невероятном. Это доказывает несомненно, что мы не спим, а движемся, и движемся не то что как белка в колесе, а все вперед и вперед; что наше движение есть движение поступательное, это несомненно также доказывается тем, что мы решаем вопросы не как-нибудь, не сломя голову, а зрело обсуживаем их целые годы; даже и те, которые решим, поворачиваем из архивов снова назад и снова начинаем обсуживать, одним словом, ведем дело так благоразумно, так осторожно, что с того времени, как мы получили возможность обсуждать разные вопросы путем *так называемой русской гласности*, мы не решили еще ни одного вопроса. Ясно, что богатство поднятых и каждодневно

поднимаемых нами вопросов — богатство не пустое. Так, по крайней мере, убежден «Свисток».

Но ведь что значит убеждение «Свистка»? Как ни благонамеренно он думает обо всем, но убеждений его никто не ставит в грош. Многие готовы восстать против самой священной истины — стоит им только услышать, что истину эту проповедует «Свисток». Найдется, конечно, немало людей, которые скажут, что богатство вопросов, как бы оно велико ни было, все-таки в существе дела не более, как минус, как богатство призрачное, в некотором роде пуф... Чтобы превратить поднятый вопрос в действительный капитал, надобно решить его... Да и этого еще мало: надобно решение перевести в жизнь...

«Свистку» приходится спуститься в глубь науки, чтобы убедить неверующих, что тысячелетие прожито нами не даром... И «Свисток» спустится. Хоть

242

наука и не его собственно профессия, но когда все ученые с таким усердием начали заниматься свистом, «Свистку» по необходимости приходится взяться за ученые работы.

Никогда и нигде наука не принималась так быстро и не расцветала так скоро, как у нас. Назад тому полтора столетия мы еще не умели и читать, а уж имели академию<sup>62</sup>. Ныне нет ни одной отрасли знания, по которой у нас не было бы своих ученых представителей с самостоятельной мыслью. Сии ученые стоят не только в уровень с таковыми же первоклассными учеными европейскими, но иногда нарочито их превосходят своими знаниями. Нет сомнения, что российская академия для того главным образом и печатает свои бюллетени на иностранных языках, чтобы поделиться с Европою открытиями российских ученых.

Независимо от этого, многие из наших отечественных писателей обогатили иностранные литературы отдельными сочинениями. Г. *de* Кокорев сделал на французском языке множество таких экономических открытий, что привел в удивление даже Густава Молилари. Граф Соллогуб подарил французской сцене произведение, которое привело в восхищение парижских театралов<sup>63</sup>. Г. *de* Жеребцов, *de* Семенов<sup>64</sup> и многие другие приобрели меньшую известность в других родах иностранной литературы. В последнее время мы нашли нужным вступить даже в конвенцию с некоторыми европейскими землями относительно прав литературной собственности<sup>65</sup>, чтобы наших умственных богатств не расхищала Европа. Все это несомненно доказывает процветание у нас самостоятельной мысли, к которой с жаждою прислушивается сама Европа.

И прислушиваться действительно есть к чему. Мы обозначим здесь кратко те результаты, которых достигли мы по разного рода наукам.

Корень, из которого все науки получают свои соки, есть без сомнения философия. Философия явилась в Россию очень рано, и явилась не сама, — что также очень замечательно, — а по нашему усерднейшему приглашению. Само собою разумеется, что мы приняли ее очень любезно, как желанную гостью, поместили в самом благословенном климате нашей отчизны — в Малороссии, на берегах поэтического Днепра, указали ей ее обязанности оставили в покое. Зато и философия отплатила нам самую деликатную любезностью с своей стороны. С самого своего прибытия в Россию до настоящего времени она не мешалась ни в нашу жизнь, ни в обычаи, ни в управление, ни в науку, была всегда, так сказать, сама по себе, а мы сами по себе. Сыны благословенной Малороссии, изучая самым усердным образом философию, все-таки не могли уразуметь — чем бы мог жид различаться от собаки, равно как и того, что,

кроме искусства делать сало и хорошие наливки, для человеческого благоденствия на земле потребны и некоторые другие знания. С тем же характером полного безучастия ко всему философия перешла из Киева в Великороссию и распространилась по всей России<sup>66</sup>. И такова сила истинного знания, что в то время, как на Западе явились и бесследно исчезли десятки философских систем, наша русская философия остается неизменною и непоколебимою, какою была и при своем появлении. Тех же самых начал и воззрений, которых держались Григорий Саввич Сковорода и Иоанникий Голятовский, держался и Епифаний Словеницкий<sup>67</sup>, «а в философии и богословии изящный дидаскал»<sup>68</sup> — держится и современный нам главный

243

представитель киево–русской философии, г. Юркевич. Начало, из которого исходит эта философия, составляет следующее положение: *есть* не то только, что можно пощупать, но *есть* и то, чего пощупать нельзя, или лучше сказать: то именно несомненно только и *есть*, чего нельзя пощупать, а что можно пощупать, то *есть* только призрачно, мнимо, феноменально. В недавнее время несколько свистунов вооружились, к общему изумлению всех россиян, против истинности этого начала, утвержденного веками и признаваемого от всех священным, но были, как и надобно было ожидать, разбиты в пух и прах г. Юркевичем, при помощи «Русского вестника», изучившего греческую философию, как и всю классическую древность, по источникам. В одно почти время с свистунами П. Л. Лавров, вероятно, также не вполне довольный общепринятой в России философией, хотел



возвести новое здание философии<sup>69</sup>, употребляя для постройки его частью заграничный материал, частью мусор отечественный, но, непонятый современниками, бросил свою работу почти в самом начале. Обе попытки пошатнуть древнюю нашу философию исчезли без всякого вреда для нее, можно бы сказать, пожалуй, бесследно, если бы они не возбуждали в юных птенцах полета к самостоятельному мышлению. Юные птенцы начали свои философские созерцания с луны, и пока держались там, доставляли публике несказанное увеселение. Но, спустившись на землю, произвели общее смятение совершенно беспричинною в юных летах кровожадностью воззрений<sup>70</sup>. Кончилось тем, что благоразумные люди махнули на философию рукой, порешив, что в России никакой другой философии, кроме киевской, не бывать.

Русская история, если считать отцом ее преподобного Нестора, началась многими веками ранее русской философии. Начиная от Нестора до Карамзина, и даже до незабвенного для «Свистка» историка М. П. Погодина и даже до г. Устрялова включительно, все русские историки проповедовали, что в русской земле от начала ее и до наших времен происходило все по неисповедимым судьбам, и хорошо происходило. За г. Устряловым явился г. Соловьев и стал доказывать, что в нашей истории происходило все вовсе не по неведомым для нас судьбам, а напротив, очень ясно, по началу рода, и происходило таким именно образом: сначала славяне жили родами, в которых родоначальники были вместе и старейшинами; затем роды распались, и явились общины с старейшинами избирательными; между общинами и внутри их возникли несогласия, раздоры, и славяне, для внесения наряда в свою жизнь, призвали трех варягов с их родами *володеть собою*. Княжеский род, развиваясь по началам формы туземной, также впоследствии распался; на развалинах его

образовались княжеские вотчины, которые уничтожили туземные общины, отняв у них всякую власть; затем хитрейшие и сильнейшие из княжеских вотчинников, уничтожив слабейших, собрали всю русскую землю в одно место, и таким образом образовалось единоедержавие. Явившийся за г. Соловьевым г. Костомаров утверждает, что вся суть нашей истории состоит в следующем: были сначала самобытные, отдельные одна от другой славянские земли, которыми владело земство каждой земли и необходимое выражение его *вече*. Веча разных земель, не умея сами управляться с неурядицами земель, призвали для управления собою целый княжеский род, дав членам его право владеть отдельными землями каждому порознь,

244

но совокупно с вечем. В этом общем управлении князя и веча, при самобытности земель, и шла русская история, пока князья московские, прибрав к своим рукам земли, уничтожили вместе с тем и веча, и удельность князей. Каждое из этих трех мирозерцаний имеет множество сторонников и приверженцев. «Свисток», держась исторического мирозерцания гегелианского, полагает, что все, что было у нас, было непременно *разумно*, то есть вследствие известной неизбежной необходимости быть, иначе бы и быть не могло, — и как всякая истина выходит *на ясный день жизни только из борьбы противоположностей*, то нет никакого сомнения, что, имея столько различных исторических мирозерцаний, мы сделали в науках исторических большие успехи —

**И к истине мы на прямом пути!**

**Прилежно только надобно учиться.**

**Вместе с самостоятельной разработкой русской истории необходимо должна была явиться и наука русского права. Она действительно и явилась и растолковала нам отменно ясно, что сначала был обычай, потом настал закон; что законы в разные царствования дополнялись, изменялись; что в существующем ныне Своде Законов нельзя не видеть несомненного влияния законодательства разных эпох; растолковала нам затем, что такое грамоты *судные, бессудные, правые, уставные, губные, приставные* и т. д.; что судебник Ивана III был хорош, потому что прежде и никакого не было; судебник Ивана IV еще лучше, Уложение еще лучше<sup>71</sup>. Все это**

**Детушки скушали, ложки обтерли, сказали: спасибо<sup>72</sup>,**

**и.... только.**

**С первыми попытками разработки русской истории явилась у нас и еще самостоятельная наука русская, археология. Кажется, не было на свете археологии, которая бы с таким усердием занималась своим делом, как наша. Материалы, ею собранные, могли бы составить большую библиотеку. Она списала все, что сохранилось в памяти народа о прежней жизни — песни, сказки, предания, легенды, пословицы и проч.; рассмотрела древние жилища, одежды, утварь, места общественных собраний, их разнообразные принадлежности и украшения, вскрыла множество могил и курганов, списала надписи со всех сосудов, одежд, икон, колоколов, крестов и пр. и пр., пересмотрела до малейших подробностей все письменные памятники, так что**

**Известно ей все — и то: на чем в веки**

**От нас отдаленных времен  
Писали подобные нам человеки?  
И то: каким именно родом письмен?  
Глаголицей, рунами, вязью, уставом?  
А также: чернилом, другим ли составом?**

**Казалось бы, при таком грузе учености должна бы была выйти интереснейшая археология. А вот нет, не вышла. Какую бы вы ни взяли археологию в руки — еврейскую ли, римскую ли, древности ли Геркуланума и Помпеи<sup>73</sup>, вы не можете оторваться от них. А кажется, что нас могло бы интересовать в этих археологиях! В них все чуждое для нас; родного ничего. Но**

**245**

**таково уже свойство прошедшей жизни, хотя бы и чуждой для нас, что если из ней вырвана какая-нибудь более или менее цельная картина, то какие бы мелочи ни изображала эта картина, они сейчас обрисовывают нам характер эпохи, нравы и дух жившего тогда человечества, заставляют невольно сравнивать прошедшее с настоящим и тем уясняют нам нас самих — предмет, как известно, самый интересный для людей! Возьмешь русскую археологию — видишь в ней все свое, родное; тот же самый быт, который описывает она, продолжается еще и теперь в видоизмененном виде, кажется, как бы не заинтересоваться таким близким сердцу предметом? А нет, прочтешь пять, шесть страниц — голова отяжелеет, точно от дурмана. Уж кажется, как интересно описание новгородских древностей, изданное, кажется, в прошедшем году о. архимандритом Макарием<sup>74</sup>. Нет решительно древней вещи, на которую бы трудолюбивый изыскатель не обратил самого заботливого**

внимания. Всякая вещь вымерена, вывешена, описана до мельчайших подробностей. Сняты со всякой вещи надписи, из которых ясно видно, как, и кем, и когда она построена. Одним словом, когда подумаешь про себя, ясно видишь, что науке дальше здесь и идти некуда — все съела. А станешь читать, не ощущаешь никакого удовольствия; самые ученейшие изыскания не только не веселят, а как будто грусть нагоняют. Даже Ярославле серебро нисколько не утешает<sup>75</sup>. Если на чем и случается временем отвести душу, то разве только на библиографических известиях г. Лонгинова. Отчего же, спрашивается, все это зависит? Отчего нравятся нам иностранные археологии и отчего не нравятся наши собственные, родные, русские? Оттого, что очень мы уже ученостию—то иностранцев превзошли. Стараемся насовать везде учености, учености и учености. Кто против учености? Но не все же ученость, инде бывает и хоть какая—нибудь человеческая мысль нужна.

Назад тому несколько лет явилась в России новая наука — экономическая. Рожденная не в нашей стороне, чуждая наших нравов и обычаев, нашей исторической жизни, незнакомая с условиями страны, она пришла в ужас от того, что у нас увидела. Приверженцы западной экономической науки, хотя и вскормленные у нас дома, общинным хлебом, гремели во имя принципа против существующего у нас общинного землевладения, в нем видели причину застоя у нас земледелия, всеобщей лени, отвращения к труду в народе и находили необходимым общинное владение землею заменить владением на праве личной собственности, а затем лежавшие впусе государственные земли продать или передать немедленно в частные руки, в несомненной уверенности, что, сделавшись частною собственностью, земли эти не будут уже лежать впусе, а будут немедленно разработаны. Против ученых экономистов, быть может и очень талантливых, но

увлеченных чужим учением, вовсе не приспособленным к нашему быту, восстали одни только свистуны<sup>76</sup>, доказывая, с одной стороны, всю нелепость мысли ниспровергать насильственно быт, сложившийся веками (а «Русский вестник» говорит, что свистуны того и смотрят, как бы что уничтожить!); с другой стороны, отвергая сомнительное превосходство для масс европейского способа владения землею пред нашим общинным. С каким презрительным взглядом смотрели тогда на свистунов ученые экономисты! О таком общеизвестном, не подлежащем никакому спору предмете, как превосходство землевладения на праве собственности пред

246

владением общинным, им, казалось, и говорить смешно. А вот теперь и там и сям, да и едва ли не везде начинают поговаривать, что общинное владение землею, дескать, дело хорошее, даже очень хорошее. Вот не далее, как в № 1 «Санктпетербургских ведомостей», думающих, как известно, совершенно тождественно с «Отечественными записками» (а кто же не знает, как сильно некогда стояли «Отечественные записки» за право собственности, обличая свистунов в незнании первых начал политической экономии?) в статье «862—1862» мы прочли, между прочим, следующее:

«В настоящее время, то есть с начала нынешнего века, передовые люди Западной Европы обратили наконец внимание на свою коренную и главную болезнь и стали придумывать различные средства для ее исцеления. Уже прежние философские системы, имевшие предметом устройство государства, оказались совершенно несостоятельными. Многие поняли, что то или другое

устройство правительственной системы не может никогда привести к хорошему результату, пока общество будет сохранять свои устарелые понятия или свойства, а потому обратили внимание на самое общество, в перестройке которого и стали искать спасения. Результатом этих философских изысканий явились новые экономические учения... Конечный результат, к которому должны привести эти учения, по мнению их последователей, будет уничтожение права личности в пользу общества, а следствием этого — уничтожение монополий и пролетариата...»

Эта тирада — благородное, жертвенное самозаклание «Отечественных записок» на алтаре истины и победный трофей свистунов. Само собою разумеется, что при таком величественном зрелище не может не торжествовать и «Свисток», радуясь доблестям и славе достойных сынов своих.

Мы не будем говорить об успехах в других наших науках, потому что боимся утомить внимание читателей. Не бойся мы этого, мы со всею очевидностью доказали бы, что и во всех науках получены нами результаты не менее богатые, как и в тех, о которых вели мы речь.

Оставляя, однако ж, науку, не можем не сказать несколько слов о нашей поэзии. В теории поэзии признавались у нас, как известно, два начала: первое гласило, что искусство должно существовать только для искусства; второе, что искусство должно служить общественным интересам. Социальное начало, после недолговременной борьбы, одержало торжественную победу над абстрактным, и теперь вся почти наша поэзия превратилась в социальную. Работы от этого нашим поэтам, романистам, беллетристам должно бы было, по-видимому, прибавиться очень много. Потому что ведь, что же требовалось для прежней поэзии?.. Можно сказать, что

ничего, или, по крайней мере, весьма немного... Требовалось, положим, знание человеческого сердца, знание способа проявления в нем разных бурных страстей, в особенности любви, требовалось затем знание словосочинения, грамматики... но это ведь уж мелочи. Все это такие знания, которые изучения и труда никакого не требовали. Потому что какой же талант не знает человеческого сердца или там проявления разных страстей? Наши по крайней мере романисты, беллетристы — все знали это все, как свои пять пальцев, и никогда себя не обременяли никаким изучением. Ну, а поэзия социальная — это совсем другое дело, так сказать, весьма деликатное. Какой вы вопрос в

247

обществе ни затроньте — положим, отношение родителей к детям, положение женщины, отношение мужского пола к женскому, благородных к <не>благородным, — вопросы, по-видимому, обыденные, а для решения их бог знает каких сведений не потребуется. Надобно быть знакомым и с философией, и с историей, да и не с той историей, которая читается у нас в заведениях, а с историей совершенно другого рода, и разными Staats\* и Gesellschaftslehre\*\* да и какой-нибудь свой взгляд иметь, если не самостоятельный, то по крайней мере цельный, на устройство всего общественного организма. Одним словом, требуется многое. Мы боялись, что с падением искусства для искусства наши романисты и беллетристы призамолкнут или ограничатся одной обличительной поэзией, которая, как известно, никаких знаний не требует. Ибо она перестройкой

---

\* государствами (нем.). — Ред.

\*\* общественными учениями (нем.). — Ред.



существующих отношений не занимается, а только исправляет и наказует существующие злоупотребления. N берет взятки — следовательно, он негодяй; S достиг важного поста пронырством, а не достоинством личным, — следовательно, он подлец; Z обидел бедного чиновника, сказав ему нечаянно вместо: милостивый государь — дурак, — следовательно, он отсталый — таковые и подобные незамысловатые сюжеты исчерпывают все содержание обличительной поэзии. Наши опасения относительно затруднений, в какие будут поставлены романисты и беллетристы новым направлением поэзии, нимало, однако ж, не оправдались. Романы, повести, рассказы и другие роды поэзии пошли на новом социальном основании ничуть не хуже, а пожалуй, еще и лучше, чем шли прежде на основании «искусства для искусства». Наши романисты и беллетристы бог их уж знает как, а как-то ухитряются обходиться без сведений и в новом направлении, как обходились и в прежнем. А между тем не подлежит никакому сомнению, что в последнее время поэзия наша сделала громадные шаги вперед. Содержание прежней поэзии было следующее: <I> *эротической*: 1) он ее любил потому, что образ ее один из всего женского пола предносился его уму задолго прежде, чем он ее встретил; по той же самой причине любила и она его; потому они, несмотря на все препятствия со стороны родных, и сочетались законным браком; 2) он и она любили друг друга по тем же самым причинам; но она к ужасу своему узнала, что он очень равнодушен к одной или нескольким дамам, образ которых, очевидно, ему не предносился прежде. С отчаяния она хотела себя отравить ядом, но обстоятельства расположились так, что вышла замуж за одного артиллерийского капитана, образ которого ей не предносился, и прожила жизнь в постоянной меланхолии или счастливо (так или иначе — зависело от

воли автора); 3) они любили друг друга по причинам вышеизъясненным, но она полюбила другого, который хорошо говорил об Италии и имел тысячу душ, и тут только поняла, что образ именно этого и предносился ей, а не прежнего, в чем последнему и призналась откровенно; а последний хотел застрелиться, но по не зависевшим от редакции обстоятельствам не застрелился, а остался на всю жизнь в меланхолическом состоянии или женился прозаически (то или другое зависит от воли автора); II, *нежно идиллической*: он и она любили друг друга,

248

не предносившись друг другу до встречи, без любви пламенной, связанные более привычкой, сочетались браком, всю жизнь вместе завтракали, обедали, ужинали и умерли; III, *комической*: один залез под стол, другой оттуда его вытащил за ногу. Такова была поэзия прежняя; новая поэзия те же самые темы развивает совершенно в другом роде. I. 1) *эротическая*: она любила его, потому что он поставил себе целью жизни освободить Болгарию<sup>77</sup>; он любил ее за ее сочувствие к славянским племенам, и они, несмотря на препятствия со стороны родных, сочетались законным браком; 2) она его любила пламенно за его пламенные речи о меньших братьях, о цивилизации, прогрессе; он любил ее за сочувствие всему новому, живому, за внимание к его речам; она узнала стороною, что он берет взятки, презрела его и вышла замуж за учителя грамматики, который о новых идеях не говорил ничего и увлечь ее не мог, но о котором достоверно было известно, что он взяток не берет; 3) он ее полюбил за то, что она по своим занятиям была выше других женщин, говорила с душою о равноправности людей, об эманципации женщин,

но когда узнал, что она сильно прибила свою горничную, презрел ее и женился на своей вольноотпущенной, с твердою целью воспитать ее в новых идеях; II *нежно-идиллическая*: он и она не умели красноречиво говорить ни о прогрессе, ни о чем бы то ни было и, само собою разумеется, что пламенно друг друга полюбить не могли; но и он и она заботились об учреждении воскресных школ; от этой общей симпатии к общепольному делу получили симпатию друг к другу, сочетались браком, всю жизнь провели в советах о воскресных школах, устройстве их, заботах о них и оба умерли в воскресной школе; III *комическая*: один, залезая под стол, произносит торжественно: «человеческая природа во всех положениях равноправна». Другой, вытаскивая его за ногу, говорит не менее торжественно: «не пустыми словами, а самым делом должны мы помогать нашим меньшим братьям».

Может быть, да и не то, впрочем, что может быть, а мы знаем это наверное, что найдутся люди, которые не удовлетворятся результатами, добытыми нами в разных науках, скажут, что результаты эти так незначительны, что достигнуть их, прожив тысячу лет, значит почти то же, что ничего не сделать.

И таким у нас есть ответ — и мы сообщаем его тем с большим удовольствием, что а) он повторяется уже несколько лет нашими учеными, литераторами и вообще патриотами, как скоро им сделают обидное замечание в таком роде, что, дескать, Россия не бог знает как далеко ушла, — и следовательно противоречить здесь нам никто не будет; и что б) нам даже не нужно придумывать, как его выразить. Автор вышеупомянутой нами статьи «862—1862» уже потрудился за нас, и нам остается только воспользоваться его трудом.

«Есть, — говорит он, — сказка у нашего народа об «Илье Муромце», который тридцать лет и три года сиднем

сидел на печи, ничего не делал, но рос богатырски, на удивление всему народу. Ни упреки родных за леность, ни жалобы их на такую бесполезную жизнь — ничто не помогало. Илья сидел все на печи, ел, пил и спал, да думал крепкую думушку — пока не ударил час его жизни. Тогда он встал, и земля задрожала под его ногами.

Это про себя народ наш сложил сказку. И Россия, как Илья Муромец, все росла, да росла, как будто ни о чем не думала, как будто ничего не делая...

249

Она все расправляла члены, раздвигала себе границы, как видно готовясь на большем просторе заявить со временем свою жизнь».

Ну, а теперь и пошла, и пошла, и пошла... Само собою разумеется, пошла под предводительством «Свистка», по крайней мере при его усердном содействии... Казалось бы, так?

Но вот в том и дело, что с этим не хотят согласиться даже те, которые убеждены, что Россия идет вперед. Они о «Свистке» мнения самого не лестного и говорят, что не только под предводительством такого гуся, как «Свисток», но даже и вместе с ним идти вперед никак невозможно. И современное движение опорочивают именно потому, что оно проникнуто свистом. Так думают все передовые органы нашей мысли, хотя сами, как мы уже сказали выше, свистят во всю мочь, как-то: «Русский вестник», «Наше время», «День» и многие другие. Но что всего удивительнее для нас, так это то, что даже Николай Иванович Костомаров придерживается того же мнения. Сейчас мы получили его «Тысячелетие» и в нем, к изумлению нашему, прочли, что в настоящее время нет никакого движения, а

лишь только мираж движения, иллюзия, обман, что и передовых людей — людей идей — вовсе нет, а есть передовые люди *моды* — личности наиболее неспособные и пустые. Так Н. И. Костомаров характеризует наше время и наше движение, в самых видных рядах которого стоит он сам. Не поверить ему — трудно, даже для «Свистка» трудно. Поверить — страшно, даже и для «Свистка». Неужели все, что мыслится теперь у нас, что является в прессе, что делается — так-таки положительно ничего, ничто чистое, абсолютное? Неужели все личности, действующие теперь мысля ли, словом ли, делом ли — все так-таки личности наиболее неспособные и пустые?

А так точно оно, дескать, и есть, отвечает Н. И. Костомаров, — и вот почему:

У нас вовсе нет прогресса, а есть только мода. «Свойство мод, — говорит Н. И., — меняться и не иметь разумного основания. *Кого только занимает мода в чем бы то ни было*, тот непременно одержим болезнью пустоты, бессмыслия и неспособности ни к умственному, ни к гражданскому подвигу».

Полагаем, что последний пункт непременно должен быть опечаткой, которой не заметили «Санктпетербургские ведомости». Ведь мода занимает и «Отечественные записки». Иначе они не прилагали бы для своих читателей картинок дамских и даже мужских мод? Неужели и они одержимы болезнью пустоты, бессмыслия и неспособности ни к умственному, ни к гражданскому подвигу? Признаемся, мы сильно усомнились в справедливости слов Н. И. Костомарова, не поверили даже и тому, что свойство моды — не иметь никакого основания. Не доверяя, однако ж, много и самим себе, мы полезли в известный всем «Conversations-lexicon» Брокгауза<sup>78</sup> справиться: как думают о моде немцы, и нашли вот что:

«Под модою *вообще* разумеется все, что в известном месте вошло в нравы и привычку относительно образа действий, обращения с другими, относительно платья, устройства и убранства жилищ, — одним словом, относительно образа жизни; в более тесном смысле модою называется принятый всеми обычай одеваться, причем, впрочем, словом *мода* обозначается более изменяющееся, быстро исчезающее во внешних формах жизни, нежели постоянное

250

и твердое. Перемена и разнообразие мод зависит от большей или меньшей цивилизации, обращения с другими, развития индустрии и богатства народа, равно как от географического положения и политического устройства страны. Чем беднее, необразованнее, малочисленнее народ, чем он изолированнее от сношений с другими народами, тем менее мода подвержена в нем переменам. То же самое бывает с модою, когда деспотизм препятствует свободному ее развитию, как, например, в большей части азиатских государств, или где постоянное плесневение в старых обычаях и порядках и враждебное отношение ко всему чужому, как, например, в Китае, делает ум человека односторонним, ни к какому движению неспособным. Где, напротив, индивидуальная свобода и вкус всякого имеют простор, где постоянные сношения с другими нациями расширяют умственный кругозор, где, наконец, вследствие развития туземной индустрии, материальное благосостояние народа находится в цветущем состоянии, там образ жизни частных лиц, их домашняя обстановка, платье, наряды непременно должны подвергаться самым частым переменам. Поэтому надобно быть очень

односторонним или иметь взгляд слишком узкий, чтобы безусловно осуждать моду. Мода оживляет индустрию, и осуждать ее можно только тогда, когда ее доводят до глупого франтовства, когда из-за нее забывают серьезные дела, когда ею вводят расстройство в домашнюю жизнь и мелочи делают главной целью жизни. На Францию всегда смотрели как на страну мод; но Англия имеет не менее права на это, и должно сознаться, что в странном и уродливом покрое платья британские петиметры<sup>79</sup> большею частью оставляли за собою далеко французских».

На таком широком основании ставят моду немцы, рассматривая ее *raison d'Stre*<sup>\*</sup> в сем грешном мире. В своем движении мода может быть рассматриваема или как полное отрицание прежнего, существовавшего обычая, или как мелкое видоизменение обычая уже существующего. В первом случае мода не может не иметь разумного основания; во втором она, конечно, может являться иногда и без разумного основания, по прихоти, по капризу. Каждый обычай ведь, как бы долго он ни существовал, хотя бы по китайскому летосчислению прожил сотню веков, был когда-нибудь непременно модой, потому что он заменил собою обычай древний. И если он принят большинством людей образованных, то непременно надобно думать, что прежний обычай оказывался в чем-нибудь неудобным и что новый, заступивший его место, устранял эти неудобства. Возьмем, например, хотя сюртуки, фраки и прочую нашу одежду европейскую. Теперь эта одежда вошла в обычай образованного общества в России. А ведь когда-то этот обычай был модным у нас, да еще как модным-то! И была причина, для своего времени весьма достаточная, почему мода на фраки, сюртуки вытеснила бывшие в общем употреблении кафтаны, охабни и т. п. Для каждого легкого видоизменения покроя фраков и сюртуков

---

<sup>\*</sup> законодательницей (франц.). — Ред.

**причин, может быть, и не приберешь. Но ведь эти видоизменения как мелкие и незначительные и не разрушают той мысли, вследствие которой принята и доселе держится мода на сюртуки и фраки. Потому стоит ли и толковать о том: разумны они или неразумны? Так точно мода действует и в науке, и в воззрениях на дела общественные и т. д. Возьмем,**

**251**

**например, хоть русскую историю. Прежде историки наши были такого мнения, что в истории нашей все плелось так, как плелось, по судьбам неисповедимым. Явился г. Соловьев с полным отрицанием такого странного взгляда и указал начало, из которого развивалась жизнь, правильное или нет — это другой вопрос; мнение его вытеснило прежние и сделалось модным потому именно, что оно было разумнее прежних; за г. Соловьевым явился г. Костомаров — с полным отрицанием начала, указанного г. Соловьевым, и показал другую идею в развитии событий; новое мнение вытеснило мнение г. Соловьева и сделалось модным, опять потому, что оно было признано более разумным, чем прежнее. Между тем и в то время, когда была мода на историю Карамзина, и в то время, когда была мода на историю г. Соловьева, и теперь, когда не прошла еще мода на историческое мирозерцание г. Костомарова, всегда были в исторических каких-нибудь частностях особые мнения от общего модного взгляда на всю историю, не подрывавшие, однако, этого взгляда в основании. Эти особые мнения о разных частностях и можно назвать легкими видоизменениями моды. Они то же самое, что в моде на сюртуки, фраки расширение или сужение рукавов,**



**фалд, пол и т. д., не изменяющие основной формы фраков или сюртуков.**

**Все это говорим мы к тому, что существующие в настоящее время идеи тогда только можно было бы назвать модными в том смысле, в каком хочет назвать Н. И. Костомаров, то есть легкими, капризными явлениями мысли, когда бы они были только легким видоизменением принятых обычаев, порядков, форм, не изменяющим их существенного смысла. Они, напротив, представляют полное или такое отрицание всего этого, что прошедшее никак не может уложиться вместе с ними. А между тем новые идеи принимаются уже и теперь большинством образованного общества. Отсюда несомненно следует: 1) что большинством образованного общества признана несостоятельность прежних обычаев, порядков, форм; что 2) новые идеи имеют непременно что-нибудь такое, что устраняет усмотренную в прежних обычаях, формах, порядках несостоятельность, а потому непременно имеют и разумное основание для своего существования.**

**Н. И. Костомаров думает не так. Сказав, что мода не имеет никакого-разумного основания, что кто держится моды в чем-нибудь, тот бессмыслен и неспособен ни к каким подвигам, он продолжает так:**

**«Иные в явлениях моды видят соотношение с прогрессом и противопоставляют ей обычай, в котором находят застой и рутину. Те ошибаются, которые так смотрят. Мода имеет те же отрицательные стороны, какие есть в обычае, и не имеет положительных сторон последнего. Сходство между ними в одинаковом устранении мысли и критики... Различие между модой и обычаем то, что в обычае, при отсутствии мыслительной критики своих убеждений и поступков, участвует сердце; в моде нет его, там холодная пустота и бесплодное воображение, творящее даже неочерченные образы, а не ясные тени, облачные**

призраки. Передовые люди в сфере обычая — всегда лучшие личности; в сфере моды напротив: *тут передовые личности — наиболее неспособные и пустые*».

Все это слова, слова и слова!<sup>80</sup> Кого назвать передовыми людьми в сфере обычая? Тех ли, которые крепче и упорнее его держатся? Если да,

252

то уж передовые люди обычая никак не могут быть лучшими людьми. Ибо известно, что чем человек ограниченнее, одностороннее, тем всегда он крепче сидит в обычае. Если же передовыми людьми обычая назвать тех, которые смотрят на обычай разумно, самостоятельно, понимают слабые и неудобные его стороны и готовы всегда заменить его лучшим, если оно им представится, — то такие люди уже не будут люди обычая, а будут именно люди моды. Далее, если понимать моду как легкие видоизменения в сфере существующего обычая то люди такой моды могут быть и неспособные, пустые личности. Но когда мода является как полное отрицание существующего обычая, то тут с одними пустыми и неспособными людьми ничего не поделаешь. Чтобы пошатнуть обычай, надобно выяснить слабые его стороны, указать достоинство новых идей, вести борьбу с передовыми людьми обычая, часто подкрепляемыми не одними аргументами мысли, но и другими средствами. Если бы передовые люди обычая стояли всегда выше людей моды, то никогда никакой обычай не пошатнулся бы, и никакая мода не могла бы заступить его место и сама превратиться в обычай.

«Мы не говорим, — продолжает Н. И., — передовые люди идей, которые, по несчастью, делаются игрушкой

моды, но разумею передовых людей именно моды. Если идеи *не воплощаются и в мире прочных явлений*, то значит — первого рода передовых людей и нет: все возвращается в одной моде».

И опять нет, опять что-то не так. Какой бы нам взять пример, чтобы показать, что *невоплощение идей в мире прочных явлений* не может доказывать отсутствие передовых людей. Ну, да возьмем вот хоть пример для всех бесспорный — христианство. Нет сомнения, что передовые люди были в обществе христианском и в самом начале его. А ведь было время, и тянулось оно немало, когда христианское общество состояло почти из одних апостолов, когда идеи его не встречали нигде привета и не воплощались в мире прочных явлений? Да и что называет Н. И. воплощением идей в мире прочных явлений? Почему он думает, что современные идеи прогресса известным образом не воплощаются в мире прочных явлений, так точно, как воплощались при первом своем появлении и идеи христианства, как воплощаются и все новые идеи?

Здесь мы оканчиваем полемику с Н. И. Костомаровым, хотя и душевно желали бы продолжать ее, потому что, как хотите, приятно заниматься рассуждением о предметах возвышенных, а для «Свистка» это даже и полезно, репутацию приобретает. Всякий скажет: вот, дескать, как ныне «Свисток»-то! не пустяками какими-нибудь занимается, а рассуждает о предметах возвышенных, даже с Н. И. в спор вступил. И мы все-таки, несмотря на это, оканчиваем полемику с Н. И. Костомаровым, оканчиваем потому, что знаем вперед, что сколько бы мы ни полемизировали, нам не поверят, а поверят Н. И. Костомарову. Мы даже сами, как ни основательно опровергали Н. И., не очень доверяем себе: может быть, оно как-нибудь и в самом деле так, что Н. И. говорит правду.

Для нас прискорбно, что Н. И. прервал поток нашего красноречия. Когда мы, рассмотрев научные труды в России, хотели обратиться к современным нам людям и на них остановиться как на лучшем свидетельстве тех блистательных успехов, какие мы сделали в течение тысячелетия, как вдруг

253

получили «Тысячелетие» Н. И. Костомарова с таким заявлением, что людей—то именно у нас и нет, то есть нет людей идей, что наши *передовые люди* — не более как личности наиболее пустые и неспособные.

Что ж делать? Надобно покориться судьбе и оставить современных передовых в покое, когда они не могут служить показателями нашего движения вперед. Куда ж нам еще обратиться, чтобы увидеть плоды тысячелетней жизни нашей? В наше прошедшее? Но что же там—то?

«Старое житье—бытье, — говорит о нем Н. И., — сбрасывает с себя вековую плесень: нам слышатся сотни рано погибших надежд, бесполезно растроченных сил, вопль миллионов страдальцев, погибших в эпохи ломовых бедствий, без участия современников, не оплаканных потомством, забытых историею, — зверский разгул произвола, тихая скорбь безвыходного терпения».

Таково наше прошедшее! Стоит ли идти туда? Конечно, не стоит. «Но есть, — говорит Н. И., — прошедшее и у нас, на котором стоит остановиться и даже некоторым образом и вернуться, — говорит, — к нему не мешает; но вернуться не в том смысле назад, чтобы нам терять плоды всего нашего тысячелетнего развития, возвращаться к патриархальной простоте разумения предков и к тесному горизонту их знаний и опыта, а в смысле простоты

действия и решимости, с какою, по рассказу нашего летописца, поступили они в важном деле заклада русского политического общества». «Посмотрите, — говорит Н. И., — как они действовали! 1) Жили они на большом пространстве разрозненно, а все соединились единодушно, чтобы прогнать притеснявших их варягов; 2) все поняли, что им самим в деле управления ничего не поделаться, и опять соединились все, чтобы призвать князей; 3) призвали они князей не из тех варягов, которых выгнали, а из других; 4) призвали «не раболепно, не с самоунижением, но откровенно сознаваясь в неустройстве своей земли»; 5) призвали князей «не из сильного и влиятельного народа, напротив, из такого незначительного, который, взошедши в славянский мир, не только не внес туда каких-либо посторонних элементов, но скоро даже память его происхождения затерялась».

В самом деле, сколько мудрости-то! Подлинно есть чему поучиться!

Перестанем же, — говорит Н. И., — повторять модную фразу: вперед! Лучше: назад! «Даже назад к половине IX века, за тысячу лет!»

Ну, что же: назад, так назад! «Свисток» и на это согласен. Только, отправляясь назад, «Свисток» надобно непременно с собой захватить. Без него дело не обойдется и в попятном шествии. Как раз можно вдаться в какие-нибудь сантиментальные объяснения вещей самых нехитрых, затем впасть в опасные увлечения, вроде славянофильских, норманских и т. п., а затем потерять возможность даже и назад идти, а просто-напросто своротить с дороги в дебри и засесть в них так, что потом уже не вытащит оттуда никакая сила. Разительный пример такого опасного, безвыходного положения — Рогожское кладбище<sup>81</sup>.

**Здесь «Свисток» может с торжеством закончить свою речь; ибо теперь, полагаем, для всех сделалось ясно и несомненно, что без «Свистка» истинный прогресс совершенно невозможен, что «Свисток» необходим всюду — и в науке, и в жизни, и в поэзии, и в поступательном, и в попятном шествии.**